

Содержание

Ю. Архипов
Главный классик века

7

ПРОЦЕСС. *Роман.*
Перевод Р. Райт-Ковалевой

17

ЗАМОК. *Роман.*
Перевод Р. Райт-Ковалевой

245

РАССКАЗЫ
ПРЕВРАЩЕНИЕ.
Перевод С. Анта

587

ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОЙ СОБАКИ.

Перевод Ю. Архипова

643

5

ПЕВИЦА ЖОЗЕФИНА, или МЫШИНЫЙ НАРОД.

Перевод Р. Гальпериной

686

КАК СТРОИЛАСЬ КИТАЙСКАЯ СЕНА.

Перевод В. Станевич

705

ГЛАВНЫЙ КЛАССИК ВЕКА

Если попытаться маркировать каждый из последних веков в развитии немецкой литературы одним каким-нибудь показательным для этого века именем, то получим такой набор имен-символов: шестнадцатый век был веком Мартина Лютера, семнадцатый — Гриммельсхаузена, восемнадцатый — Гете, девятнадцатый — Гофмана, двадцатый — Кафки.

Когда-то, на заре этого века, куда более популярный в то время Герман Гессе назвал Франца Кафку «тайным королем немецкой прозы». В том же духе высказывались о нем и другие именитые современники — от Томаса Манна (написавшего предисловие к американскому изданию Кафки, где он — достаточно тонко — отметил в нем «религиозный юмор») до Германа Броха, от Мартина Бубера и Георга Лукача до Вальтера Беньямина и Теодора Адорно. Ныне, сто лет спустя, следует, пожалуй, признать, что Кафка стал королем явным. По количеству изданий, исследований, упоминаний он далеко впереди всех своих коллег-современников и уже приближается к Гете. Не счесть и литературных знаменитостей, которые в те или иные периоды творчества писали «под Кафку», испытывая сильнейшее, почти магическое обаяние его художественной манеры. Тут и Борхес, и Беккет, и Камю, и Канетти, и Роб-Грийе, и Бретон, и Мартин Вальзер, и Фриш с Дюрренматтом...

Причин тут, как всегда, множество, но главная очевидна — Кафка, как никто другой, оказался созвучен и

эстетике, и трагедиям своего века. Жутковатые видения, кошмарные порождения фантазии, пугающие превращения, сновидческий алогизм и вечный невпазд намерений и осуществлений – все это, составившее самую ткань художественных произведений Кафки, оказалось слишком узнаваемо и по жизни. Возникло даже новое слово – «кафкианский», вошедшее во все словари мира. Редкий случай, когда фамилия автора дала имя целому понятию.

Такой успех был бы немислим, если б дело сводилось к открытию (или развитию) только некоей художественной манеры. В конце концов, вторжение сновидений в повествование – в связи с настоящим взрывом иррационального (Фрейд и пр.) – всего лишь общее место европейской литературы рубежа веков. Если ограничиться одной лишь русской словесностью, то и тут подобного найдем немало: сны-страшилки Федора Сологуба, сказочки-сны Ремизова, симфонии-сны Андрея Белого, фантазии-сны Хлебникова, Гуро и т. д. Австриец (пражский еврей, писавший по-немецки) Франц Кафка (1883–1924) возглавил список наиболее поминаемых писателей века прежде всего потому, что сумел своими построениями-параболами предвосхитить самые глубокие духовные поползновения не только своего времени, но и последующих десятилетий.

Сбывшиеся предсказания всегда придают написанному дополнительный мощный свет. Вспомним хотя бы «Бесов» Достоевского, это грандиозное романное пророчество катастроф XX века.

У Кафки нет таких протяженных полотен. Тут скорее уж обрывки какие-то: галлюцинации, видения, сны... То почудится герою, что он превратился в насекомое, то привидится ему (и автору) замысловатая машина для казни, то доведет до отчаяния кошмар мелкой, неотступно жалящей дрязги. Но в этой тошной муке абсурда – провидение подноготной тех самых социальных

катастроф, которые превратили XX век во всемирную трагедию.

У самого Кафки, по-видимому, и впрямь был этот пророческий, ясновидческий дар. Его на протяжении лет неизменный спутник Густав Яноух вспоминает, как они стояли однажды у окна, мимо которого протекали колонны первомайской демонстрации. Немного взглядевшись, писатель обратил внимание приятеля на невзрачных, озабоченных людей, сновавших вдоль шествия: там поправить ряды, тут ускорить движение... В этих неприметных уличных организаторах Кафка, по свидетельству Яноуха, увидел будущих всеильных бюрократов и палачей, устроителей нелепейших судилищ, заливших невиданными потоками крови летопись человечества.

У Кафки, судя по фотографиям, и лицо визионера — острое, но в то же время будто округлые черты, не то чтобы оплывшие, но уплывающие в астральность; и словно бы потусторонним светом налитые, до жути пронзительные при всей своей ласкающей улыбочивости глаза. Ныне этот необычный лик растиражирован миллионнократно — в поделках китча, заполонившего прилавки Вены и Праги, где он как нельзя лучше вписывается в общую моду на всякую «чертовщину».

Загадочная догадливость Кафки и привела к тому, что именно в нем стали искать ключ к разрешению «проклятых» вопросов века многие выдающиеся мыслители — экзистенциалистского, семиотического, психоаналитического, религиозно-иудаистского и прочего, прочего толка. Ни один другой автор минувшего века не стал объектом столь разнообразных по методике интерпретаций, ни один не дал иллюстративную пищу столь разным школам. Тут и герменевтики, разгадывающие сугубо философские загадки кафковских притч, тут и приверженцы социальной психологии, осмысляющие его «штрафные колонии» как прообраз будущих концлагерей, толкующие его «Процесс» как провидение крова-

во-фарсовых судилищ, а его «Замок» как символ все- сильной бюрократической диктатуры. Слишком часто в минувшем столетии человек оказывался в «кафков-ской», или «кафкианской», ситуации — то есть выбитым из логичного маршрута собственной биографии, без вины виноватым, погашенным в своей индивидуальной судьбе и воле, — чтобы к чисто «игровым» по видимо-сти построениям Кафки не добавилось со временем жуткое обаяние мрачного прорицания.

Но Кафка оказался в «духе времени» и в другом, эстетическом, смысле. Его поэтика, резко отличная от предшественников-натуралистов, оказалась во многом созвучной преобладающим художественным исканиям XX века — повороту, например, в живописи от «фотографической» точности к загадочной в своих диспропорциях архаике у экспрессионистов, примитивистов, сюрреалистов, «магических реалистов». От психологизма и иллюстративности к заклинаниям и магии — так можно охарактеризовать этот резкий скачок. Если такие великие современники Кафки, как Томас Манн и Герман Гессе, явились вершинными завершителями психологизирующей, упивающейся сложным синтаксисом манеры XIX века, то Кафка открыл совершенно новые возможности художественной экспрессии, повернув внешне простое, лишенное всякого украшения (но не лишенное своеобразной «тихой» музыки) слово к его доисторическим, древним слоям и связям. Интерес к новой работе со словом, к обыгрышу его архаических смыслов, был повсеместно распространен в европейском авангарде начала века («заумь» Хлебникова и дадаистов, «глоссология» Белого и Моргенштерна и т. д.), но Кафку — который сопоставим в этом отношении скорее с поэтами, чем с прозаиками, — выделяет какая-то особая внешняя непритязательность и серьезность, чужающаяся игривого самолюбования, столь свойственного непривычному словоупотреблению. Он не стилизует, он пишет с той забытой лапидарностью и

простотой, будто и в самом деле живет во времена пророков, пишет «на все времена». Этим он отличается и от своего непосредственного предшественника — швейцарца Роберта Вальзера, все же упивавшегося подчас своим виртуозным артистизмом. (Кстати, отсвет грандиозной мировой славы Кафки вернул на литературный олимп и забытого на какое-то время Вальзера.)

К слагаемым успеха Кафки, несомненно, относятся и предельно актуальные для современности тематические пристрастия писателя — власть, отчуждение, одиночество, несвобода, страх перед жизнью, конфликт поколений, невостребованность искусства.

А в самом центре этого сплетения злободневных понятий — пожалуй, абсурд, то есть до предела сгущенный гротеск, позволяет острее и четче обрисовывать и все прочие мотивы. Например, порожденный современным отчуждением мотив одиночества человека. Лишь абсурдное превращение в насекомое позволяет Грегору Замзе, герою одноименной новеллы, до конца осознать всю бездну своего одиночества, весь трагизм своей обреченности. Абсурд смертного существования лишь прикрит, по Кафке, иллюзиями насущности всякого рода житейских забот. Они, эти иллюзии, поддерживаются тем, что человек делает все, что «положено» делать, живет, как все. Стоит ему стать другим, не как все, как все эти иллюзии немедленно исчезают.

В самом протяженном (хоть и тоже очень небольшом по объему) романе Кафки «Замок» — другая абсурдная ситуация. Некий человек переезжает на новое место жительства и, хотя никто вроде бы у него не требует никаких документов, сам, добровольно, ищет некую инстанцию, которая разрешила бы ему проживание. Жить естественно, как природа, человек не может себе позволить. Несвобода настолько вкоренена в человека, что он сам ищет себе оковы, ищет Инстанцию, которая его «зарегистрирует», то есть помучает волокитой. Таковую Инстанцию герой обретает в Замке. Под Замком

можно разумать и какой-нибудь Кремль, но и какой-нибудь с виду простенький загс. Русскому (естественному) человеку, как мало какому другому в мире, довелось и доводится хлебнуть горюшка от незримо ядовитого Замка — загса. Не случайно, может быть, так популярен у нас Кафка.

Построенные по принципу сновидений картины Кафки переполнены ужасами: тут постоянно кого-то преследуют, кому-то угрожают, измываются, калечат, пытаются друг друга, колют, режут, сжигают в печи. Однако все эти картины далеки от натурализма массовой литературы — и тем самым от «эстетики безобразия», укоренившейся в модернизме и постмодернизме. В своем словесном явлении тексты Кафки по-своему совершенны и поэтому — по древнему принципу «катарсиса» — достигают преображения уродливой правды в прекрасные, дарующие читателю избавительное «облегчение» (а в этом и есть смысл древнегреческого «катарсиса») формы, воздействующие не только на разум или доступные расхожим психологическим штудиям чувства, но и на какое-то неведомое или давно забытое таинновидческое чутье, глубоко зарытое в каждой, пусть и рассовременнейшей душе.

Как и всякое состоявшееся художество, проза Кафки представляет собой тончайшим образом устроенный универсум, в котором есть все — от «праздного» волшебства музыкально согласованных словесных сочетаний до житейски полезных поучений, от «ума холодных наблюдений» до «сердца горестных замет». И все же доминанта этого мира — особая магия, в которой очертания знакомого мира предстают иными, смещенными, непривычными. В этих смещениях и «отстранениях» обещаны новые, неведомые смыслы реальности. И повторяю, совершенно особое измерение им предают сбывшиеся предсказания.

Поражающий эффект художественного письма Кафки, как сразу же заметит читатель, в том, что все его чу-

довищные гротески написаны простым и ясным, спокойным по ритму, «объективно» регистрирующим слогом. Чудовища будто заключены в стеклянные сосуды, как в некоей Кунсткамере. К тому же от большинства из них остались только обрубки, только фрагменты.

Все это относится, кстати говоря, не только к его художественной прозе, но и к дневникам и письмам, которые практически не вычленимы из общего литературного наследия Кафки. В конце концов, и вся литература, как заметил однажды сам писатель, есть не что иное, как «дневник нации». И все же редко у кого все эти жанры достигают такого единства: проза, дневники, письма Кафки — как единый поток, который несет этого человека по жизни, поддерживая его до поры до времени на плаву. Недаром сам Кафка писал, что он весь состоит из литературы.

Есть у него и другая крылатая автохарактеристика: «Страх — основа моего могущества». Страх, самоспасаящийся письмом, письмо, преисполненное страха. Разросшийся, клубящийся, насыщаемый упорной иудаистской памятью страха, вобравшее в себя каббалистические и талмудические бездны письмо. Кафка много размышлял о своем еврействе, ни у кого из писателей мы не найдем такого национального самообнажения. Он то ненавидел свой «иудейский страх» и готов был проклинать все еврейское, почти как его ровесник Отто Вайнинггер, гениальный юноша, автор нашумевшей в начале XX века книги «Пол и характер», двадцати трех лет отроду покончивший с собой — казнивший в себе еврея. То восхищался мудростью и жизненной цепкостью праотцев и склонялся к сионизму, который основал другой его ровесник и земляк Теодор Герцль.

Итак, какой аспект его личности или мировоззрения ни взять — всюду эта двойственность, эта амбивалентность. Нет характера, нет мыслителя и нет писателя более скользкого, ускользающего. Так он всю жизнь ускользал от женитьбы, хотя к ним страстно стремился:

«Иметь человека, который понимал бы тебя, жену, например, — это значило бы иметь опору во всем, все равно что иметь бога».

Однако реальное счастье для самого Кафки, как и для его героев, невозможно, потому что идея безмерна, а ее воплощение узко. «Я не завидую отдельным супружеским парам, я завидую только всем супружеским парам вообще, а если я и завидую какой-то одной супружеской паре, то я, собственно говоря, завидую всему супружескому счастью во всем его бесконечном многообразии; счастье одного-единственного супружества даже в самом благоприятном случае, наверное, привело бы меня в отчаяние». Такой вот — типично, насквозь кафковский — пассаж.

«Ты хотел жениться и в то же время не хотел жениться», — констатирует отец Кафки в передаче собственного сына (знаменитое письмо отцу). В этом «хотел и в то же время не хотел» — весь Кафка. «Ненавижу самоанализ», — пишет он и — занимается самоанализом до самоедства. «Сломлен ли я? Гибну ли я?» — с такими вопросами он обращен к себе постоянно. Внятного ответа на них нет. «Да, сломлен, да, гибну», — кричит все существо Кафки. «Нет, не сломлен, нет, жив», — вторит ему другой внутренний голос обнадеживающим контрапунктом. Эта раздвоенность — в крови и каждого персонажа Кафки.

Безусловно прав поэтому писатель Макс Брод, друг и душеприказчик, не ставший сжигать рукописи Кафки вопреки его завещанию. Он не стал выполнять волю Кафки, потому что никакой воли у Кафки не было. «Ты хотел сжечь рукописи и не хотел сжигать их», — мог бы он сказать своему другу. В конце концов, завещание написано, судя по всему, в 1922 году, то есть за два года до смерти. За это время Кафка и сам мог бы сжечь все, что считал необходимым. Сжег ведь вторую часть «Мертвых душ» Гоголь — один из учителей и предтеч, тот, кто и Кафку накрыл своей «Шинелью» (а может быть, еще

плотнее — «Записками сумасшедшего»). А Кафке и хотелось повторить это писательское самоубийство, и не хотелось, боязно было повторять его.

Россия, кстати, постоянно занимала и как-то притягивала к себе Кафку. «Безграничная притягательная сила России», — обмолвился он как-то в своем дневнике. Нередко упоминается Россия и в новеллах («Приговор»), и в письмах. Русские писатели — те из иностранных, кого Кафка читает всего чаще. Вчитывается в их биографии, в письмах к друзьям и возлюбленным нередко пересказывает те или иные эпизоды из жизни своих любимцев — Гоголя и Достоевского. Но воспринимает он все сугубо по-своему, на свой мрачный кафковский лад. Достаточно вспомнить знаменитую сцену писательского дебюта Достоевского, когда к нему среди ночи вторглись Некрасов с Григоровичем, чтобы выразить свой восторг по поводу только что прочитанных «Бедных людей». Захлестнувшее Достоевского счастье Кафка оставляет без всякого внимания, из сложной гаммы чувств, переполнивших юного писателя, он выделяет — изымает, раздувает, смакует — одно: самоунижение. Достоевский, глядя вслед удаляющимся друзьям, одарившим его своими восторженными похвалами, думает, по Кафке, будто бы исключительно о том, как он жалок и низок и не достоин их.

Примерно так же смещенно воспринимает Кафка и немецких писателей — особенно дорогих его сердцу Клейста и Гете. Он даже замышляет работу «Об ужасном у Гете», стремясь выискать привычную себе тональность и у прославленного олимпийца. Понятно, что подобные высказывания характеризуют самого Кафку больше, чем тех, о ком он размышляет. Выбирая себе среди предшественников друзей («Он помог мне, как друг», — писал он о датчанине Кьеркегоре), Кафка наделяет их свойствами собственной природы. Впрочем, не так ли поступает и всякий писатель — да и всякий читатель?

Что-то нужное себе отыщет, несомненно, и всякий читатель предлагаемого сборника Кафки, в котором собраны самые известные его, «канонические» произведения. Кто-то, замороженный, углубится в непостижимо угрожающие лабиринты «Замка» или отстраненно казуистические дебри «Процесса», кому-то больше скажут отточенные по форме при всех своих ускользающих смыслах новеллы и притчи писателя. Среди них немало признанных шедевров с устоявшейся к нашему времени, неколебимой репутацией литературной удачи. «Приговор», «Превращение», «Отчет для академии», «Исследования одной собаки», «Певица Жозефина, или Мышинный народ», «Как строилась Китайская стена», «Охотник Гракх», «В поселении осужденных»... Да мало ли. Читательское счастье в том, что каждый волен сам улавливать смыслы и расставлять оценки.

Юрий Архипов

1. АРЕСТ. РАЗГОВОР С ФРАУ
ГРУБАХ, ПОТОМ С ФРОЙЛЯЙН
БЮРСТНЕР

Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Кухарка его квартирной хозяйки фрау Грубах, ежедневно приносившая ему завтрак около восьми, на этот раз не явилась. Такого случая еще не бывало. К. немного подождал, поглядел с кровати на старуху, жившую напротив, — она смотрела на него из окна с каким-то необычным для нее любопытством — и потом, чувствуя и голод, и некоторое недоумение, позвонил. Тотчас же раздался стук, и в комнату вошел какой-то человек. К. никогда раньше в этой квартире его не видел. Он был худощав и вместе с тем крепко сбит, в хорошо пригнанном черном костюме, похожем на дорожное платье — столько на нем было разных вытачек, карманов, пряжек, пуговиц и сзади хлястик, — от этого костюм казался особенно практичным, хотя трудно было сразу сказать, для чего все это нужно.

— Вы кто такой? — спросил К. и приподнялся на кровати.

Но тот ничего не ответил, как будто его появление было в порядке вещей, и только спросил:

— Вы звонили?

— Пусть Анна принесет мне завтрак, — сказал К. и стал молча разглядывать этого человека, пытаясь прикинуть и сообразить, кто же он, в сущности, такой? Но тот не дал себя особенно рассматривать и, подойдя к

двери, немного приоткрыл ее и сказал кому-то, очевидно стоявшему тут же, за порогом:

— Он хочет, чтобы Анна подала ему завтрак.

Из соседней комнаты послышался короткий смех; по звуку трудно было угадать, один там человек или их несколько. И хотя незнакомец явно не мог услышать ничего для себя нового, он заявил К. официальным тоном:

— Это не положено!

— Вот еще новости! — сказал К., соскочил с кровати и торопливо натянул брюки. — Сейчас взгляну, что там за люди в соседней комнате. Посмотрим, как фрау Грубах объяснит это вторжение.

Правда, он тут же подумал, что не стоило высказывать свои мысли вслух, — выходило так, будто этими словами он в какой-то мере признает за незнакомцем право надзора; впрочем, сейчас это было неважно. Но, видно, незнакомец так его и понял, потому что сразу сказал:

— Может быть, вам лучше остаться тут?

— И не останусь, и разговаривать с вами не желаю, пока вы не скажете, кто вы такой.

— Зря обижаетесь, — сказал незнакомец и сам открыл дверь.

В соседней комнате, куда К. прошел медленнее, чем ему того хотелось, на первый взгляд со вчерашнего вечера почти ничего не изменилось. Это была гостиная фрау Грубах, загроможденная мебелью, коврами, фарфором и фотографиями; пожалуй, в ней сейчас стало немного просторнее, хотя это не сразу было заметно, тем более что главная перемена заключалась в том, что там находился какой-то человек. Он сидел с книгой у открытого окна и сейчас, подняв глаза, сказал:

— Вам следовало остаться у себя в комнате! Разве Франц вам ничего не говорил?

— Да что вам, наконец, нужно? — спросил К., переводя взгляд с нового посетителя на того, кого называли

Франц (он стоял в дверях), и снова на первого. В открытое окно видна была та старуха: в припадке старческого любопытства она уже перебежала к другому окну — посмотреть, что будет дальше.

— Вот сейчас я спрошу фрау Грубах, — сказал К. И хотя он стоял поодаль от тех двоих, но сделал движение, словно хотел вырваться у них из рук, и уже пошел было из комнаты.

— Нет, — сказал человек у окна, бросил книжку на столик и встал: — Вам нельзя уходить. Ведь вы арестованы.

— Похоже на то, — сказал К. и добавил: — А за что?

— Мы не уполномочены давать объяснения. Идите в свою комнату и ждите. Начало вашему делу положено, и в надлежащее время вы все узнаете. Я и так нарушаю свои полномочия, разговаривая с вами по-дружески. Но надеюсь, что, кроме Франца, никто нас не слышит, а он и сам вопреки всем предписаниям слишком любезен с вами. Если вам и дальше так повезет, как повезло с назначением стражи, то можете быть спокойны.

К. хотел было сесть, но увидел, что в комнате, кроме кресла у окна, сидеть не на чем.

— Вы еще поймете, какие это верные слова, — сказал Франц, и вдруг оба сразу подступили к нему.

Второй был много выше ростом, чем К. Он все хлопывал его по плечу. Они стали ощупывать ночную рубашку К., приговаривая, что теперь ему придется надеть рубаху куда хуже, но эту рубашку и все остальное его белье они приберегут, и, если дело обернется в его пользу, ему все отдадут обратно.

— Лучше отдайте вещи нам, чем на склад, — говорили они. — На складе вещи подменяют, а кроме того, через некоторое время все вещи распродают — все равно, окончилось дело или нет. А вы знаете, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время! Конечно, склад вам в конце концов вернет стоимость вещей, но, во-первых, сама по себе сумма ничтожная, по-

тому что при распродаже цену вещей назначают не по их стоимости, а за взятки, да и вырученные деньги тают, они ведь что ни год переходят из рук в руки.

Но К. даже не слушал, что ему говорят, ему не важно было, кто получит право распоряжаться его личными вещами, как будто еще принадлежавшими ему; гораздо важнее было уяснить свое положение; но в присутствии этих людей он даже думать как следует не мог: второй страж — кто же они были, как не стражи? — все время толкал его, как будто дружески, толстым животом, но когда К. подымал глаза, он видел совершенно не соответствующее этому толстому туловищу худое, костлявое лицо с крупным, свернутым набок носом и перехватывал взгляд, которым этот человек обменивался через его голову со своим товарищем. Кто же эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Ведь К. живет в правовом государстве, всюду царит мир, все законы незыблемы, кто же смеет нападать на него в его собственном жилище? Всегда он был склонен относиться ко всему чрезвычайно легко, признавался, что дело плохо, только когда действительно становилось очень плохо, и привык ничего не предпринимать заранее, даже если надвигалась угроза. Но сейчас ему показалось, что это неправильно, хотя все происходящее можно было почесть и за шутку, грубую шутку, которую неизвестно почему — может быть, потому, что сегодня ему исполнилось тридцать лет? — решили с ним сыграть коллеги по банку. Да, конечно, это вполне вероятно; по-видимому, следовало бы просто рассмеяться в лицо этим стражам, и они рассмеялись бы вместе с ним; а может, это просто рассыльные, вполне похоже, но почему же тогда при первом взгляде на Франца он твердо решил ни в чем не уступать этим людям? Меньше всего К. боялся, что его потом упрекнут в непонимании шуток, зато он отлично помнил — хотя обычно с прошлым опытом и не считался — некоторые случаи, сами по себе незначительные, когда он в отличие от своих друзей

сознательно пренебрегал возможными последствиями и вел себя крайне необдуманно и неосторожно, за что и расплачивался полностью. Больше этого с ним повториться не должно, хотя бы теперь, а если это комедия, то он им подыграет. Но пока что он еще свободен.

— Позвольте, — сказал он и быстро прошел мимо них в свою комнату.

— Видно, разумный малый, — услышал он за спиной.

В комнате он тотчас же стал выдвигать ящики стола; там был образцовый порядок, но удостоверение личности, которое он искал, он от волнения никак найти не мог. Наконец он нашел удостоверение на велосипед и уже хотел идти с ним к стражам, но потом эта бумажка показалась ему неубедительной, и он снова стал искать, пока не нашел свою метрику.

Когда он возвратился в соседнюю комнату, дверь напротив отворилась и вышла фрау Грубах. Но, увидев К., она остановилась в дверях, явно смутившись, извинилась и очень осторожно прикрыла двери.

— Входите же! — только и успел сказать К.

Сам он так и остался стоять посреди комнаты с бумагами в руках, глядя на дверь, которая не открывалась, и только возглас стражей заставил его вздрогнуть, — они сидели за столиком у открытого окна, и К. увидел, что они поглощают его завтрак.

— Почему она не вошла? — спросил он.

— Не разрешено, — сказал высокий. — Ведь вы арестованы.

— То есть как арестован? Разве это так делается?

— Опять вы за свое, — сказал тот и обмакнул хлеб в баночку с медом. — Мы на такие вопросы не отвечаем.

— Придется ответить, — сказал К. — Вот мои документы, а вы предъявите свои, и первым делом — ордер на арест.

— Господи, твоя воля! — сказал высокий. — Почему вы никак не можете примириться со своим положени-

ем? Нет, вам непременно надо злить нас, и совершенно зря, ведь мы вам сейчас самые близкие люди на свете!

— Вот именно, — сказал Франц, — можете мне поверить. — И он посмотрел на К. долгим и, должно быть, многозначительным, но непонятным взглядом поверх чашки с кофе, которую держал в руке.

Сам того не желая, К. ответил Францу таким же выразительным взглядом, но тут же хлопнул по своим документам и сказал:

— Вот мои бумаги.

— Да какое нам до них дело! — крикнул высокий. — Право, вы ведете себя хуже ребенка. Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный, страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, об ордерах на арест? Мы — низшие чины, мы и в документах почти ничего не смыслим, наше дело — стеречь вас ежедневно по десять часов и получать за это жалованье. К этому мы и приставлены, хотя, конечно, мы вполне можем понять, что высшие власти, которым мы подчиняемся, прежде чем отдать распоряжение об аресте, точно устанавливают и причину ареста, и личность арестованного. Тут ошибок не бывает. Наше ведомство — насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, — никогда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет: вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Таков закон. Где же тут могут быть ошибки?

— Не знаю я такого закона, — сказал К.

— Тем хуже для вас, — сказал высокий.

— Да он и существует только у вас в голове, — сказал К. Ему очень хотелось как-нибудь проникнуть в мысли стражей, изменить их в свою пользу или самому проникнуться этими мыслями. Но высокий только отрывисто сказал:

— Вы его почувствуете на себе.

Тут вмешался Франц:

— Вот видишь, Виллем, он признался, что не знает закона, а сам при этом утверждает, что невиновен.

— Ты совершенно прав, но ему ничего не объяснишь, — сказал тот.

К. больше не стал с ними разговаривать; неужели, подумал он, я дам сбить себя с толку болтовней этих низших чинов — они сами так себя называют. И говорят они о вещах, в которых совсем ничего не смыслят. А самоуверенность у них просто от глупости. Стоит мне обменяться хотя бы двумя-тремя словами с человеком моего круга, и все станет несравненно понятнее, чем длиннейшие разговоры с этими двумя. Он прошелся несколько раз по комнате, увидел, что старуха напротив уже притащила к окну еще более древнего старика и стоит с ним в обнимку. Надо было прекратить это зрелище.

— Проведите меня к вашему начальству, — сказал он.

— Не раньше, чем начальству будет угодно, — сказал страж, которого звали Виллем. — А теперь, — добавил он, — я вам советую пройти к себе в комнату и спокойно дожидаться, что с вами решат сделать. И наш вам совет: не расходуйте силы на бесполезные рассуждения, лучше соберитесь с мыслями, потому что к вам предъявят большие требования. Вы отнеслись к нам не так, как мы заслужили своим обращением, вы забыли, что, кем бы мы ни были, мы, по крайней мере по сравнению с вами, люди свободные, а это немалое преимущество. Однако, если у вас есть деньги, мы готовы принести вам завтрак из кафе напротив.

К. немного постоял, но на это предложение ничего не ответил. Может быть, если он откроет дверь в соседнюю комнату или даже в прихожую, эти двое не посмеют его остановить; может быть, самое простое решение — пойти напролом? Но ведь они могут его схватить, а если он потерпит такое унижение, тогда пропадет его превосходство над ними, которое он в некотором отно-

шении еще сохранил. Нет, лучше дожидаться развязки — она должна прийти сама собой, в естественном ходе вещей; поэтому К. прошел к себе в комнату, не обменявшись больше со стражами ни единым словом.

Он бросился на кровать и взял с умывальника прекрасное яблоко — он припас его на завтрак еще с вечера. Другого завтрака у него сейчас не было, и, откусив большой кусок, он уверил себя, что это куда лучше, чем завтрак из грязного ночного кафе напротив, который он мог бы получить по милости своей стражи. Он чувствовал себя хорошо и уверенно; правда, он на полдня опаздывал в банк, где служил, но при той сравнительно высокой должности, какую он занимал, ему простят это опоздание. Не привести ли в оправдание истинную причину? Он так и решил сделать. Если же ему не поверят, чему он несколько не удивится, то он сможет сослаться на фрау Грубах или на тех стариков напротив — сейчас они, наверно, уже переходят к другому своему окошку. К. был удивлен, вернее, он удивлялся, становясь на точку зрения стражи: как это они прогнали его в другую комнату и оставили одного там, где он мог десятком способов покончить с собой? Однако он тут же подумал, уже со своей точки зрения: какая же причина могла бы его на это толкнуть? Неужели то, что рядом сидят двое и поедают его завтрак? Покончить с собой было бы настолько бессмысленно, что при всем желании он не мог бы совершить такой бессмысленный поступок. И если бы умственная ограниченность этих стражей не была столь очевидна, то можно было бы предположить, что и они пришли к такому же выводу и поэтому не видят никакой опасности в том, что оставили его одного. Пусть бы теперь посмотрели, если им угодно, как он подходит к стенному шкафчику, где спрятан отличный коньяк, опрокидывает первую рюмку взамен завтрака, а потом и вторую — для храбрости, на тот случай, если храбрость понадобится, что, впрочем, маловероятно.

Но тут он так испугался окрика из соседней комнаты, что зубы лязгнули о стекло.

— Вас вызывают к инспектору! — крикнули оттуда.

Его напугал именно крик, этот короткий, отрывистый солдатский окрик, какого он никак не ожидал от Франца. Сам же приказ его очень обрадовал.

— Наконец-то! — крикнул он, запер стеной шкафчик и побежал в гостиную. Но там его встретили оба стража и сразу, будто так было нужно, загнали обратно в его комнату.

— Вы с ума сошли! — крикнули они. — В рубахе идти к инспектору! Он и вас прикажет высечь, и нас тоже!

— Пустите меня, черт побери! — крикнул К., которого уже оттеснили к самому гардеробу. — Напали на человека в кровати, да еще ждут, что он будет во фраке!

— Ничего не поделаешь! — сказали оба; всякий раз, когда К. подымал крик, они становились не только совсем спокойными, но даже какими-то грустными, что очень сбивало его с толку, но отчасти и успокаивало.

— Смешные церемонии! — буркнул он, но сам уже снял пиджак со стула и подержал в руках, словно предоставляя стражам решать, подходит ли он.

Те покачали головой.

— Нужен черный сюртук, — сказали они.

К. бросил пиджак на пол и сказал, сам не зная, в каком смысле он это говорит:

— Но ведь дело сейчас не слушается?

Стражи ухмыльнулись, но упрямо повторили:

— Нужен черный сюртук.

— Что ж, если этим можно ускорить дело, я не возражаю, — сказал К., сам открыл шкаф, долго рылся в своей многочисленной одежде, выбрал лучшую черную пару — она сидела так ловко, что вызывала прямо-таки восхищение знакомых, — достал свежую рубашку и стал одеваться со всей тщательностью. Втайне он подумал, что больше задержек не будет — стража забыла даже заставить его принять ванну. Он следил за ними — а вдруг

они все-таки вспомнят, но им, разумеется, и в голову это не пришло, хотя Виллем не забыл послать Франца к инспектору доложить, что К. уже одевается.

Когда он оделся окончательно, Виллем, идя за ним по пятам, провел его через пустую гостиную в следующую комнату, куда уже широко распахнули двери. К. знал точно, что в этой комнате недавно поселилась некая фройляйн Бюрстнер, машинистка; она очень рано уходила на работу, поздно возвращалась домой, и К. только обменивался с ней обычными приветствиями. Теперь ее ночной столик был выдвинут для допроса на середину комнаты, и за ним сидел инспектор. Он скрестил ноги и закинул одну руку на спинку стула.

В углу комнаты трое молодых людей — они разглядывали фотографии фройляйн Бюрстнер, воткнутые в плетеную циновку на стене. На ручке открытого окна висела белая блузка. В окно напротив уже высунулись те же старики, но зрителей там прибавилось: за их спинами возвышался огромный мужчина в раскрытой на груди рубашке, который все время крутил и вертел свою рыжеватую бородку.

— Йозеф К.? — спросил инспектор, должно быть, только для того, чтобы обратить на себя рассеянный взгляд К.

К. наклонил голову.

— Должно быть, вас очень удивили события сегодняшнего утра? — спросил инспектор и обеими руками пододвинул к себе немногие вещи, лежавшие на столике: свечу со спичками, книжку, подушечку для булавок, как будто эти предметы были ему необходимы при опросе.

— Конечно, — сказал К., и его охватило приятное чувство: наконец перед ним разумный человек, с которым можно поговорить о своих делах. — Конечно, я удивлен, но, впрочем, и не очень удивлен.

— Не очень? — переспросил инспектор и, передви-

нув свечу на середину столика, начал расставлять вокруг нее остальные вещи.

— Возможно, что вы не так меня поняли, — заторопился К. — Я только хотел сказать... — Тут он осекся и стал искать, куда бы ему сесть. — Мне можно сесть? — спросил он.

— Это не полагается, — ответил инспектор.

— Я только хотел сказать, — продолжил К. без задержки, — что я, конечно, очень удивлен, но когда проживешь тридцать лет на свете, да еще если пришлось самому пробиваться в жизни, как приходилось мне, то поневоле привыкаешь ко всяким неожиданностям и не принимаешь их слишком близко к сердцу. Особенно такие, как сегодня.

— Почему особенно такие, как сегодня?

— Нет, я не говорю, что все считаю шуткой, по-моему, для шутки это слишком далеко зашло. Очевидно, в этом принимали участие все обитатели пансиона, да и все вы, а это уже переходит границы шутки. Так что не думаю, чтоб это была просто шутка.

— И правильно, — сказал инспектор и посмотрел, сколько спичек осталось в коробке.

— Но, с другой стороны, — продолжал К., обращаясь ко всем присутствующим — ему хотелось привлечь внимание и тех троих, рассматривавших фотографии, — с другой стороны, особого значения все это иметь не может. Вывожу я это из того, что меня в чем-то обвиняют, но ни малейшей вины я за собой не чувствую. Но и это не имеет значения, главный вопрос — кто меня обвиняет? Какое ведомство ведет дело? Вы чиновники? Но на вас нет формы, если только ваш костюм, — тут он обратился к Францу, — не считать формой, но ведь это, скорее, дорожное платье. Вот в этом вопросе я требую ясности, и я уверен, что после выяснения мы все расстанемся друзьями.

Тут инспектор со стуком положил спичечный коробок на стол.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — сказал он. — И эти господа, и я сам — все мы никакого касательства к вашему делу не имеем. Больше того, мы о нем почти ничего не знаем. Мы могли бы носить самую настоящую форму, и ваше дело от этого ничуть не ухудшилось бы. Я даже не могу вам сказать, что вы в чем-то обвиняетесь, вернее, мне об этом ничего не известно. Да, вы арестованы, это верно, но больше я ничего не знаю. Может быть, вам стража чего-нибудь наболтала, но все это пустая болтовня. И хотя я не отвечаю на ваши вопросы, но могу вам посоветовать одно: поменьше думайте о нас и о том, что вас ждет, думайте лучше, как вам быть. И не кричите вы так о своей невинности, это нарушает то, в общем неплохое, впечатление, которое вы производите. Вообще вам надо быть сдержаннее в разговорах. Все, что вы тут наговорили, и без того было ясно из вашего поведения, даже если бы вы произнесли только два слова, а кроме того, все это вам на пользу не идет.

К. в недоумении смотрел на инспектора. Его отчитывают, как школьника, и кто же? Человек, который, вероятно, моложе его! За откровенность ему приходится выслушивать выговор! А о причине ареста, о том, кто велел его арестовать, — ни слова! Он даже разволновался, стал ходить взад и вперед по комнате, чему никто не препятствовал. Сдвинул под рукав манжеты, поправил манишку, пригладил волосы, сказал, проходя мимо трех молодых людей: «Какая бессмыслица!», на что те обернулись к нему и сочувственно, хотя и строго, посмотрели на него, и наконец остановился перед столиком инспектора.

— Прокурор Гастерер — мой давний друг, — сказал он. — Можно мне позвонить ему?

— Конечно, — ответил инспектор, — но я не знаю, какой в этом смысл, разве что вам надо переговорить с ним по личному делу.

— Какой смысл? — воскликнул К. скорее озадаченно, чем сердито. — Да кто вы такой? Ищете смысл, а твори-

те такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят! Сначала эти господа на меня напали, а теперь расселись, стоят и глазеют всем скопом, как я пляшу под вашу дудку. И еще спрашиваете, какой смысл звонить прокурору, когда мне сказано, что я арестован! Хорошо, я не буду звонить!

— Отчего же? — сказал инспектор и повел рукой в сторону передней, где висел телефон. — Звоните, пожалуйста!

— Нет, теперь я сам не хочу, — сказал К. и подошел к окну.

Вся компания еще стояла у окна напротив, но то, что К. подошел к окну, нарушило их спокойное созерцание.

Старики хотели было встать, но мужчина, стоявший сзади, успокоил их.

— А эти там тоже глазеют! — громко крикнул К. инспектору и ткнул пальцем в окно. — Убирайтесь отсюда! — закричал он в окошко.

Те трое сразу отступили вглубь, старики даже спрятались за соседа, прикрывшего их своим большим телом, и по его губам было видно, как он им что-то говорил, но издали трудно было разобрать слова. Однако они не ушли совсем, а словно выжидали минуту, когда можно будет незаметно опять подойти к окну.

— Какая назойливость, какая бесцеремонность! — сказал К., отходя от окна.

Инспектор как будто с ним согласился, по крайней мере так показалось К., когда он искоса на него взглянул. Впрочем, возможно, что тот и не слушал, потому что он плотно прижал ладонь к столику и как будто сравнивал длину своих пальцев. Оба стража сидели на сундуке, прикрытом для красоты ковриком, и потирали коленки. Трое молодых людей, уперев руки в бока, бесцельно смотрели по сторонам. Было тихо, словно в какой-нибудь опустевшей конторе.

— Ну-с, господа! — воскликнул К., и ему показалось,